

Герцен и славянофилы¹

*Андрей Тесля**

Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения А. И. Герцена и славянофилов на протяжении 1840-х — первой половины 1860-х гг., выделяются основания сближения (как со стороны Герцена, так и славянофилов). Особое внимание уделяется влиянию на Герцена славянофильских взглядов в 1850-е гг., в момент выработки им так называемого «русского социализма».

Ключевые слова: И. А. Аксаков, А. И. Герцен, И. В. Киреевский, П. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, славянофильство, социализм, народничество, нация, национализм.

Классическое противостояние «западников» и «славянофилов» многократно становилось объектом специальных исследований. Гораздо в меньшей степени изучено славянофильство как интеллектуальное и политическое направление — если раннему («классическому») славянофильству посвящена масса работ, то история последующих десятилетий отражена в куда меньшем числе исследований (Державин, 1939; Дудзинская, 1983; Порох, 1971; Порох, Порох, 1986; Рамишвили, 1957а; Рамишвили, 1957б). Соответственно и проблема интеллектуального и социального взаимодействия и взаимовлияния Герцена и славянофилов преимущественно изучалась в рамках 1840-х годов, тогда как более поздние контакты оставались в тени. В данной работе мы предпримем попытку кратко проследить взаимоотношения Герцена и членов славянофильского кружка на протяжении всего периода их контактов, полагая, что данная, «удлиненная» перспектива позволяет выявить аспекты, ранее остававшиеся в тени.

В Москве (1842–1846)

Когда весной 1842 г. Герцен вернулся из второй (новгородской) ссылки в Москву, он застал лагерь славянофилов и западников вполне оформившимися — отсутствовав в Москве восемь лет, он пропустил большую часть идейных боев и разногласий, весь сложный процесс образования направлений, оказавшись в ситуации, когда ос-

* **Тесля Андрей Александрович** — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии ТОГУ. Email: mestr81@gmail.com

© Тесля А. А., 2013

© Центр фундаментальной социологии, 2013

1. Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ №МК-2579.2013.6. Тема: «Социальная и политическая философия поздних славянофилов: между либерализмом и консерватизмом».

новые линии размежевания были прочерчены, симпатии и антипатии вполне определились, хотя представители обоих направлений всё еще поддерживали довольно тесные отношения между собой, оставались частью одного московского круга. Что касается самого Герцена, то его интеллектуальные симпатии и дружеское общение однозначно определяли принадлежность писателя к западничеству. При этом по своему характеру он не мог быть просто участником — ему необходимо было занять положение лидера направления, по крайней мере, московского крыла (главенствующая роль Белинского безоговорочно обеспечивалась его журнальным статусом) (см.: Малиа, 2010, гл. 12–13).

Между тем Герцен в наибольшей мере среди западников испытал влияние славянофилов. Речь не только о личных контактах, но и о вовлеченности в славянофильскую мысль, о чем свидетельствует дневник, в котором с осени 1842 до зимы 1844/45 гг. он пытался с разных сторон осмыслить и опровергнуть суждения славянофилов². Подготовленный предшествующим кругом общения и своими интеллектуальными установками, Герцен оценивает славянофилов как «безумное направление, становящееся костью в течении образования. Оно принимает вид фанатизма мрачного и нелепого» (II, 242, запись от 18.XI.1842³). Однако ближайшее знакомство пробуждает интерес, который, как пишет Герцен в дневнике 1844 г., когда отношения со славянофилами становятся все напряженнее, встречал неодобрение других участников западнического кружка: «С полной гуманностью, подвергаясь упрекам со стороны всех друзей, протягивал я им руку, желал их узнать, оценил хорошее в их воззрении» (II, 354, запись от 12.V.1844)⁴.

Первые знакомства приходятся на позднюю осень — зиму 1842/43 г. В ноябре в доме Елагиных⁵ он встречается и беседует с Петром Васильевичем Киреевским, чуть

2. Кстати, отношения со славянофилами в некоторые моменты достигали такой степени близости, что Герцен читал Киреевскому (по наиболее вероятному предположению редакторов академического собрания сочинений Герцена — Ивану Васильевичу) и Хомякову свою IV статью из цикла «Дилетантизм в науке» («Буддизм в науке») за полгода до ее напечатания (II, 281, запись от 9.V.1843).

3. Здесь и далее ссылки на академическое собрание сочинений Герцена (Герцен, 1954–1965) даются по тексту; римской цифрой обозначается ссылка на том, арабской — на страницу указанного тома.

4. Ср. в письме Н. Х. Кетчеру от 27.IV.1844: «Что вы хотите делаете, ругайтесь или хвалите, я в одном неизменен — это в той добросовестной и светлой гуманности, которая всегда бежит от исключительных (*haineux* <человеконенавистнических (*фр.*)>) взглядов. Только смеясь или шутя можно думать, что я разделяю мнения Хомякова *et C^{nie}*; но я вовсе не шутя говорю и прежде говорил, что я со многими очень сочувствую и сердцем и умом, в очень многих сторонах и во имя этих сторон, а равно и во имя благородств^{ва} убеждений я не отворачиваюсь» (XXII, 183).

5. *Авдотья Петровна Елагина* (1789–1877) — мать славянофилов Петра и Ивана Киреевских (от первого брака с Василием Ивановичем Киреевским, 1773–1812) и Василия и Николая Елагиных (от второго брака с Алексеем Алексеевичем Елагиным, ?–1846). Ее дом с 1830-х по 50-е был одним из основных центров московской умственной жизни. Кавелин в некрологе Елагиной писал: «Дом и салон Авдотьи Петровны были одними из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. Все, что было в Москве интеллектуального и талантливого, съезжалось сюда по воскресеньям. Приезжавшие в Москву знаменитости, русские и иностранцы, являлись в салон Елагиных. В нем преобладало славянофильское направление, но это не мешало постоянно посещать

позже — и с его братом, Иваном. Хотя в современной перспективе личность старшего брата почти совершенно вытеснила младшего, именно Петр оказался из числа «старших» славянофилов постоянным собеседником Герцена, с ним будет и последний разговор, уже после окончательного разрыва со славянофилами (II, 406, запись от 23.II.1845). В декабре 1844 г., в начале разгорающегося скандала, вызванного стихотворными посланиями Языкова, Герцен в дневнике сопоставит двух братьев:

«Мне прежде казался Иван Васильевич несравненно оконченнее Петра Васильевича — это не так. Петр Васильевич головою выше всех славянофилов, он принял один во всю ширину нелепую мысль, но именно за его konsekventностью исчезает нелепость и остается трагическая грандиозность. Он жертва, на которую пал гром за его народ, за ту национальность, которая бичуется теперь. Но Иван Васильевич хочет как-то и с Западом поладить; вообще он и фанатик и эклектик — фанатик, чтоб быть полным, именно должен не быть эклектиком, иначе то, что придает ему силу, резкость, как паяльная трубка, усиливающая огонь, сгибая его на одну сторону, сглаживается, эмулируется, и выходит нечто неопределенное. Бездушному Хомякову все идет: и эта многосторонность публичных женщин, и это лукавство, предательски соглашающееся, и этот смех, которым он встречает негодование. Но Киреевский должен бы был быть оконченнее» (II, 397, запись от 17.XII.1844; ср.: XVIII, 12).

Любопытна в своей нетипичности (по сравнению с «обычными» описаниями, в рамках сложившегося позднее quasi-житийного канона) дневниковая заметка Герцена об Иване Киреевском, сделанная после второй встречи с ним в доме Елагиных:

«Иван Киреевский, конечно, замечательный человек — он фанатик своего убеждения так, как Белинский своего. Таких людей нельзя не уважать, хотя бы с ними и был диаметрально противоположен в воззрении; ненавистны те люди, которые не умеют резко стоять в своей экстреме, которые хитро отступают, боятся высказаться, стыдятся своего убеждения и остаются при нем. Киреевский *sœur et âme*⁶ <отстаивает> свое убеждение, он нетерпящ, он грубо и дерзко возражает, верно своим началам и, разумеется, односторонно. Человек этот глубоко перестрадал вопрос о современности Руси. <...> Он верит в славянский мир — но знает гнусность настоящего» (II, 244–245, запись от 23.XI.1842).

А несколько месяцев спустя оценка становится еще более высокой: «Что за прекрасная, сильная личность Ивана Киреевского! Сколько погибло в нем, и притом развитаго! Он сломался так, как может сломаться дуб. Жаль его, ужасно жаль. Он чахнет, борьба в нем продолжается глухо и подрывает его. Он один искупает партию славянофилов» (II, 273, запись от 23.III.1843).

С Хомяковым Герцен познакомился еще весной 1840 г., после возвращения из владимирской ссылки. Знакомство было поверхностно, но оставило неблагоприятное воспоминание: «человек эффектов, совершенно холодный для истины» (цит. по:

вечера Елагиных людям самых различных воззрений, до тех пор пока литературные партии не разделились на два непримиримых лагеря...)» (Кавелин, 1989: 139).

6. Сердцем и душой (*фр.*).

Желвакова, 2010: 195). Первое впечатление, в сущности, осталось неизменным, и хотя в дальнейшем Герцен делал уступки в оценке Хомякова (см.: Емельянов, Тесля, 2012: 55; [Самарин], 2012: 68–70), но каждый раз, когда высказывался о нем без расчета на восприятие определенной аудитории, у него вырывались жесткие характеристики («бесплодно проспори́л всю жизнь»). Это было, видимо, столкновение двух во многом схожих людей, блистательных полемистов, остроумцев, любителей каламбуров и лидеров групп — неизменно мысливших себя на первых ролях, какого бы размера ни была та группа, которую в данный момент приходилось возглавлять. И одновременно глубинное несходство характеров, самого типа отношения к жизни — для Герцена честный человек в современной ему России мог быть только «лишним человеком», Хомяков же представлял собой зримое опровержение — живой, активный, остроумец во французском стиле, он одинаково хорошо чувствовал себя и в своем поместье, и в московских салонах, был великолепным полемистом и крепким хозяином, счастливым семьянином и благочестивым прихожанином, совершенно лишенным при этом и налета «казенности», и «иерархове́рия». Его ирония, не родственная саркастической иронии Герцена, воспринималась последним как «лукавство» (ср.: «Черта истинно московско-русская в Хомякове — это его лукавство, прикрытое бономией <от фр. *bonhomie* — добродушие>» (II, 353–354, запись от 12.V.1844)).

В записи, противопоставляющей Хомякова Чаадаеву, которого «тяжелая атмосфера северная сгибает в ничтожную жизнь маленьких прений, пустой траты себя слова о ненужном», первый оценивается как тот, «кому это по натуре», кто «родился для византийско-петербургского порядка дел» (II, 383, запись от 17.IX.1844), иными словами, кто воспринимает свое житейское положение не как повод для трагической позы, «мрачного голоса», «страшных слов» и «похоронного красноречия» (XVIII, 186).

Если к «старшим» славянофилам Герцен прислушивался со вниманием и интересом, временами перемежавшимся раздражением, то с двумя участниками того же круга следующего поколения у него установились дружеские связи. О Константине Аксакове он написал в прочувствованном некрологе (XV, 9–11), фрагменты из которого в дальнейшем включил в «Былое и думы» (IX, 133, 163, 169–171), но наиболее сильное интеллектуальное впечатление на него произвел Юрий Самарин. Сразу же после знакомства с ним Герцен писал Н.Х. Кетчеру: «он очень умный человек» (XXII, 158, письмо от 18–19.XI.1843), а спустя две недели на упреки в отступничестве отвечал: «С Самариным я познакомился, *c'est un parfait honnête homme*⁷... да, сверх того, *très distingué*⁸, вы там у себя сидите и углубляетесь все далее и далее в односторонность, славянофила из меня так же мудрено сделать, как славянофоба; как можно такого рода людей мешать с грязным Погодиным, тупорожденной Шевыркой, с кроважидным пауком — Дм<итриевым>⁹ etc., etc.» (XXII, 161–162, письмо Н. Х. Кетчеру

7. В высшей степени порядочный человек (*фр.*).

8. Очень утонченный (*фр.*).

9. Имеются в виду: Погодин Михаил Петрович (1800–1876), Шевырев Степан Петрович (1806–1864), Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866). Названные лица связаны с журналом «Москвитянин» (1841–1856), изданием, близким к г. Уварову и претендовавшим на то, чтобы быть выразителем и

от 3.XII.1843; ср.: там же, 174, письмо тому же адресату от 7.II.1844). Два с половиной месяца спустя он продолжал защищать своего высоко ценимого знакомого, теперь уже заручившись поддержкой приехавшего в Москву И.П. Галахова¹⁰, от натиска петербургских западников: «...полгода тому назад ты и Белинский смеялись над тем, что я сблизился с Самариним. А который из вас знал его? Самарин юноша высоких дарований и в полном развитии, ему только 25 лет — а вы уж осудили его. Я сначала инстинктом оценил его. Теперь спроси-ка Галахова, как этот человек гигантски продвинулся вперед от всех прежних товарищей, это одна из самых логических натур в Москве, это человек, который далеко выше Хомякова и даже Аксакова» (XXII, 183, письмо Н.Х. Кетчеру от 27.IV.1844). Он не просто высоко ценит это знакомство, но делает все, чтобы перетянуть Самарина на свою сторону, переубедить его, стремится ввести его в западнический петербургский кружок (XXII, 201, 202), когда Самарин, после защиты диссертации, по настоянию отца отправляется служить в петербургских канцеляриях¹¹. Накануне окончательного разрыва со славянофилами Герцен записывает в дневнике: «Писал к Самарину¹². Не мог, да и не хотел удержаться, чтоб не написать ему вполне мое мнение о славянах, об этой пустой болтовне, узком взгляде, стоячести и пр. <...> ...я не полагаю, чтоб мое письмо на него подействовало, но пусть же он услышит и другую сторону. Он один из них может, кажется, спастись» (II, 391, запись от 4.XII.1844), а уже после состоявшегося разрыва, сожалея об утрате Киреевских и Аксакова, отмечает: «Самарин не думаю, чтоб их был» (II, 403–404, запись от 10.I.1845) и с тем большей горечью отзывается на получение большого прощального письма от Самарина, которому отвечает столь же обстоятельным письмом от 27.II.1845 (не пропуская случая даже здесь, нарушая стиль, сделать выпад в адрес ненавистного Хомякова):

«Итак, наконец, от вас письмо, и притом большое, любезнейший Юрий Федорович, — благодарю вас — но не скрою, что впечатление всего письма было грустное, очень грустное. <...>

Прощайте. Идите иным путем — мы не встретимся как попутчики — это верно. Возражать вам я не стану, потому что это лишнее, один Хомяков спорит для спору, для него жизненнейшие вопросы только предметы для разговора — для меня не так. Замечу одно — на чем вы основываете, отталкивая от себя отрицание, что в нем нет любви, — любовь с обеих сторон (я

истолкователем доктрины «официальной народности»: Погодин при участии Шевырева был издателем и редактором журнала, а Дмитриев — постоянным автором.

10. Галахов Иван Павлович (1809–1849), приятель Герцена и Огарева, принадлежал к кругу «западников», разговоры с ним легли в основу двух ключевых статей, вошедших в состав «С того берега» (см.: Гершензон, 2000а: 107–120).

11. Первоначально он был определен в Министерство юстиции (27.X.1844), в дальнейшем продолжил службу по Министерству внутренних дел, где ему покровительствовал министр В. А. Перовский (1841–1852).

Ю. Ф. Самарин писал К. С. Аксакову в Москву (10.IX.1844): «На днях мне стало ужасно тяжело и грустно по Москве; я отправился к Кетчеру и застал у него Белинского и Щепкина, который сообщил мне известия о Герцене и Грановском» (Самарин, 1911: 143).

12. Письмо Ю. Ф. Самарина не сохранилось.

исключая закраины эгоистические и скверные с той и другой стороны). Да, любовь сильная, плачущая, жертвующая. Мне жаль и больно, что именно вы пишете так, в вас я видел организацию далеко сильнейшую, нежели во всех славяноф<илах> — исключая, может, Петра Вас<ильевича> Киреевского> <...>; отдаление такого человека, как вы, больно — потому что нельзя мимо вас пройти» (XXII, 229–230).

А в дневнике за день до отправления приведенного выше письма сделал запись: «На днях получил письмо от Самарина. Удивительный век, в котором человек до того умный, как он, как бы испуганный страшным, непримиримым противуречием, в котором мы живем, закрывает глаза разума и стремится к успокоению в религии, к квиетизму, толкует о связи с преданием. Письмо его подействовало на меня грустно. <...> Да как это ему не стыдно принадлежать к этим запакощенным славянофилам» (II, 407, запись от 26.II.1845).

Ю. Ф. Самарин писал К. С. Аксакову (видимо, в начале марта 1845-го): «Что сказать тебе о твоей размолвке с Герценом и Грановским? Подробностей я не знаю; но рано или поздно это должно было случиться. Так, неприступная черта меж нами есть, и наше согласие никогда не было искренно, то есть не было прочным, жизненным согласием. Вспомни, какими искусственными средствами оно поддерживалось. Много, очень многое нас разлучает и в особенности то, что для нас многое осталось святынею, в чем они видят безжизненных идолов. Но вот что мне кажется: не замешалось ли много страсти, много личности с той и другой стороны? Разрыв был необходим, но, может быть, в ином виде. Говорил ли тебе Герцен о моей переписке с ним? Если не говорил, то и ты не упоминай» (Самарин, 1911: 159).

Для Герцена, как и для большинства западников характерен романтический тип дружбы, дружба-влюбленность (в другой тональности, но в той же стилистике это можно наблюдать в переписке Т. Н. Грановского) (см.: Гинзбург, 1973), славянофилам же свойственна куда большая сдержанность во взаимных излияниях, вырабатывание иного типа дружеской переписки, в которой обсуждаются как текущие события, так и идейные вопросы в рамках существующего, но не требующего постоянного проговаривания, дружества. Переформулируя ситуацию иным образом, позволительно, на наш взгляд, сказать, что для западников в целом было характерно привнесение в эпистолярию романтического литературного канона, тогда как славянофилам было свойственно отделение «литературного» от эпистолярного (в стихотворном послании, например, те же дружеские связи формулировались в рамках привычного языка эпохи, но он оставался фиксирован как язык «литературы»).

Герцен в дружбе тяготел к дружбе-влюбленности, преобладанию эмоционального вовлечения, устойчиво воспроизводя этот тип отношений, удачно сложившийся с Н. П. Огаревым (а его переход собственно в любовный род можно наблюдать на примере отношений с Т. П. Пассек, где он не получил полноценного развития, и с Н. А. Захарьиной). Отметим попутно, что ту же модель поведения Герцен в целом сохранит до конца своей жизни; в первый эмигрантский период место отсутствующего Огарева (выехавшего на Запад только в 1856 г.) займет Г. Гервег, который сам испы-

тывает подобную потребность, откликается вполне «в тон» на послания Герцена — и их интенсивная переписка будет явно важна и интересна для обоих, здесь нет явного первенствования в отношениях. Приведем в качестве примера одно, вполне типичное, письмо Гервега Герцену (январь 1850 г.): «Боже мой, жизнь моя кажется мне полной только с тех пор, как я встретил вас. И если я пишу вам, то иногда это имеет такой вид, как будто я пишу девушке, в которую влюблен. Я мщу за ненависть, которую питаю к человечеству вообще, и в частности моим друзьям — мужчинам и женщинам, которых я мучаю своей любовью» (цит. по: Желвакова, 2010: 319).

В целом относительное сближение Герцена со славянофилами заняло два с небольшим года — от первых встреч в ноябре 1842-го до полного разрыва отношений в январе 1845-го, пик же контактов и заинтересованного, готового к восприятию интереса Герцена к славянофильству приходится на период с осени 1843 до осени 1844 г. Сближению способствовало и то, что до 1844/45 г. славянофильство еще не оформилось как направление, в отличие от западничества, уже значительно более консолидированного. Собственно, жесткую и явную позицию (вокруг которой происходит в ближайшие годы консолидация) занимают в этот период только Хомяков и братья Киреевские, при этом — поскольку будущее «славянофильство» на тот момент еще даже не кружок, а скорее круг общения, то границы, отделяющие его от других, родственных интеллектуальных направлений, еще подвижны и не ясны для самих участников, а именование задается извне (западниками). Так, 2 мая 1844 г. Ив. Киреевский пишет Хомякову: «...славянофильский образ мыслей я разделяю только *от части*, а *другую часть* его считаю *дальше от себя*, чем самые эксцентричные мнения Грановского» (Киреевский, 1911: 233). Интересен, помимо прочего, в процитированном письме и выбор слов — «славянофильство» как имя, данное противником, здесь уже объективировано, и вместе с тем Киреевский отделяет себя от него, выделяя собственную позицию. События ближайшего года (полемика на страницах «Отечественных записок») будут направлены на недопустимость подобного индивидуального выделения/самовыделения. Аналогичным образом в то же время судит и сам Герцен — 24 января 1844 г. он записывает, что полемика способствовала уяснению вопросов и что «добросовестность сторон сделала большие уступки, образовавшие мнение более основательное, нежели чистая мечтательность славян и гордое презрение ультраоксидентных» (II, 328). Год спустя, в ситуации конфликта, он предпочтет ради полемического эффекта отказаться от подобных уточнений.

Уже в сентябре 1844 г. Герцен пишет с явным раздражением:

«Мне даже люди выше обыкновенных в Москве начинают быть противны: этот суетный, 40-летний парень Хомяков, просмеявшийся целую жизнь и ловивший нелепый призрак русско-византийской церкви, делающейся всемирной, повторяющий одно и то же, погубивший в себе гигантскую способность, и Аксаков, безумный о Москве, ожидающий не нынче-завтра воскресение старинной Руси, перенесение столиц и чорт знает что. Даже И. В. Киреевский странен при всем благородстве. Белинский прав. Нет мира и совета с людьми до того разными» (II, 379, запись от 4.IX.1844).

После почти двухлетних споров и столкновений со славянофилами, непосредственно перед окончательным разрывом, Герцен записывает промежуточный итог своих размышлений: «Славянофильство имеет подобное себе явление в новой истории западной литературы. Появление национально-романтической тенденции в Германии после наполеоновских войн — тенденция, которая находила слишком всеобщую и космополитическую науку и мысль, шедшие от Лейбница, Лессинга до Гердера, Гёте, Шиллера. Как ни естественно было появление неоромантизма, но оно было не более как литературное и книжное явление без симпатии масс, без истинной действительности; не трудно было угадать, что через десять лет о них забудут. Точно такое же положение занимают славянофилы. Они никаких корней не имеют в народе, они западной наукой дошли до своих национальных теорий, это болезнь литературная и больше никакого значения не имеющая. Они вспоминают то, о чем народ забывает...» (II, 391–392, запись от 10.XII.1844). И далее, отзываясь на суждения славянофилов о враждебности Запада и нелюбопытстве его по отношению к России:

«Европа очень занимает нашей силой, потому что она в ней видит мощного раба под влиянием розги и бича, который готов на время разрушить великие плоды веков; Европа *tacitement*¹³ стоит под одним знаменем от Кенигсберга до Дублина, разногласия их — частные вопросы, но есть лабарум, около которого все народы готовы были бы соединиться (исключая, может быть, часть Австрии).

С другой стороны, они видят знамя, прямо противоположное, — написавшее яркими буквами „самодержавие“; они должны ненавидеть стан врагов и тот народ, который готов идти на гибель народам» (II, 392).

Однако он продолжает размышлять над славянофильскими тезисами: «Когда при возрождении наук явилась древняя гуманная цивилизация, весь средневековый мир испытал то, что русское государство испытало при принятии западной цивилизации. Иная, вполне развитая мысль внедрялась в Европу католическую и сочеталась с нею — к нам так явилась мысль европейская» (II, 392–393, запись от 11.XII.1844). Последняя запись особенно любопытна, поскольку в ней Герцен намечает один из вариантов помещения русских «в число народов исторических», уповав на некий «русский Ренессанс» от усвоения «западной цивилизации», которому еще предстоит случиться.

Впрочем, в своих печатных выступлениях 1845–1846 гг. Герцен данные идеи не развивает¹⁴; напротив, в состоянии конфликта со славянофилами (спланивавшим за-

13. Молчаливо (*фр.*).

14. Влияние славянофильского круга общения можно обнаружить в последней статье из цикла «Дилетантизм в науке», законченной в марте 1843 г.: «...может, тут раскроется великое призвание бросить нашу северную гривну в хранилищницу человеческого разума; может, мы, мало жившие в былом, являясь представителями действительного единства науки и жизни, слова и дела. В истории поздно приходящим — не кости, а сочные плоды. В самом деле, в нашем характере есть нечто, соединяющее лучшую сторону французов с лучшей стороной германцев. Мы несравненно способнее к наукообразному мышлению, нежели французы, и нам решительно невозможна мещански-филистерская жизнь немцев; в нас есть что-то *gentlemanlike*, чего именно нет у немцев; и на челе нашем проступает след величавой мысли, как-то не сосредоточивающейся на челе француза» (III, 73).

паднический кружок вокруг жесткой позиции Белинского, которого наряду с другими «петербуржцами» раздражали предшествующие контакты Герцена и, в меньшей степени, Грановского со славянофилами) он публикует в феврале 1845 г. в «Отечественных записках» статью «„Москвитянин“ и вселенная», направленную против обновленного «Москвитянина» (редакция которого в это время, правда, ненадолго перешла в руки И. В. Киреевского). Если в письмах и в дневнике Герцен отчетливо дифференцирует «славянофилов», то в статье он целенаправленно избегает это делать, предпочитая намеренное смешение под именем «славянофильства» не только круга Погодина и Шевырева с кругом Киреевских и Хомякова, но и с «Маяком» С. А. Бурачека (II, 134–135).

На Западе (1847–1855)

Вслед за разрывом со славянофилами летом 1846 г. последовал и распад западнического московского кружка: «Интеллектуальные расхождения западников быстро привели и к личному расхождению. Хотя социальные отношения между двумя фракциями и не прекратились, как это случилось со славянофилами, они стали заметно прохладнее, особенно между Герценом и Грановским. Также складывается впечатление, что усилились общее разногласие и личные трения между их женами. Только Огарев, как обычно менее страстный в своих убеждениях, чем его друг, сохранил прежнюю связь почти нетронутой, хотя для Герцена это стало концом кружка — той жизни близкого сообщества, которое заменило для него участие в социальном теле. <...> Его ощущение разрыва с обществом было тотальным, и его желание бежать из России стало подавляющим» (Малия, 2010: 448, 450).

Герцен уезжал на Запад с утопической верой в него — и уже готовый в нем разочароваться, чему способствовали одновременно два фактора:

— во-первых, слишком большие ожидания, которым не была способна удовлетворить никакая реальность. В. Г. Щукин отмечает вполне предсказуемый факт, что среди западников «наименее отрицательное впечатление от Запада получали те, кто не был склонен к утопическому противостоянию реальной действительности и не стремился к коренной ее перестройке: Боткин, Анненков, Тургенев, Грановский и другие либералы» (Щукин, 2007: 57);

— во-вторых, стремление найти для России место в мировой истории, что в рамках немецкой историософской традиции означало найти особое «начало», «принцип», отсутствующий доселе, который должен был привнести с собой новый народ, — следовательно, для этого надлежало изначально фиксировать отсутствие данного принципа или невозможность его реализовать у народов, уже обладающих статусом «исторических».

О направлении интеллектуальной эволюции Герцена свидетельствуют весьма краткие отзывы Белинского, с которым он встретился летом 1847 г. в Париже. Как пишет Белинский, Герцен развивает «свою любимую мысль, что покуда западники не завладеют со своей точки зрения всеми вопросами, задачами и поползновениями

славянофильства, — до тех пор никакого дела не делается ни в жизни, ни в литературе». И далее: «Для этого прежде всего надобно, чтоб все мы, западники и славянофилы, перемерли все до единого» (Желвакова, 2010: 255). Предельно упрощая, можно сказать, что Герцен предлагает уже вполне ясным и отчетливым образом «перехват» славянофильской повестки, признавая ее значимость, тогда как для Белинского речь по-прежнему идет об опровержении, устранении славянофильства путем «отмены», «опровержения» самой повестки.

Был, однако, еще один фактор, приобретающий все большее значение по мере того, как Герцен входил в европейское общество и все тверже решал найти себе место в западном радикальном движении, отрекаясь от возможности вернуться в Россию (Малиа, 2010: 462, 519). Он обнаружил, что на Западе невозможно быть западником: «Идея национальной миссии... для <революционной европейской> эмиграции... являлась незаменимой опорой: в ней национальная задача оправдывалась и освящалась общечеловеческим идеалом. Неудивительно, что сильнейшие умы несли ей дань покорности. „Маццини мечтал Италией освободить человечество, Ледрю-Роллен хотел его освободить в Париже“, — это с грустной насмешкой рассказывает сам Герцен, — и даже Прудон без рассуждений принимал, что центр мировой революции — Париж» (Гершензон, 2000б: 138)¹⁵.

Он мог получить внимание и статус в европейских кругах как представитель «русской революции» — и для этого ему надлежало доказать, что эта «революция» существует, причем именно как «русская». Московским друзьям Герцен пишет из Парижа 5–8.XI.1848, отсылая статью «LVII год республики, единой и нераздельной» (которая после войдет в книгу «С того берега»):

«„Но если это так, то, след., ты сделался славянофил“. — Нет. Не велите казнить, велите правду говорить. Из того, что Европа умирает, никак не следует, что славяне не в ребячестве. А ребячество здоровому и совершеннолетнему так же не среда, как и дряхлость. Европа умирая завещает миру грядущему, как плод своих усилий, как вершину развития, социализм. Славяне *an sich*¹⁶ имеют во всей дикости социальные элементы. Очень может быть, не встретятся они теперь с Европой социальной, и у них коммунальная жизнь исчезла бы так, как у германских народов. Натура славян в развитых экземплярах — ручательство прекрасных возможностей; но действительность бедна. Гнилой плод так же нездоров, как неспелый. Наконец, временная случайность (элемент несравненно более важный в истории, нежели думает

15. Ср.: «...еще в 1848 г. марксизм провозгласил в „Манифесте коммунистической партии“, что „у рабочих нет родины“, но в то время это мнение едва ли единодушно разделяли все левые, которые целое столетие после 1789 г. были весьма патриотичны. Они, без сомнения, покрыли себя славой в национально-освободительных войнах, и чувства, достигшие кульминации с „Весной народов“ в 1848 г., все еще вдохновляли парижских коммунаров в 1871 г. Но возникновение этого национализма представляло собой лишь неотъемлемую логику демократии, основанную на принципе „один человек — один голос“. Потому что, как только все подданные короля становятся равноправными гражданами, возникает однородный блок или масса, и на смену королевствам приходят нации, ведомые общей волей» (Малиа, 2002: 65).

16. В себе (нем.).

германс<кая> философия) поставила ex<empli> gr<atia>¹⁷ Россию в такое положение, что она невозможнее Европы, ей надобно переработать и отречься от двух прошедших — от допетровский и послепетровской» (XXIII, 111–112).

В предисловии 1858 к русскому изданию «Писем из Франции и Италии» Герцен напишет: «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину. Вера в Россию — спасла меня на краю нравственной гибели» (V, 10). Однако на первом этапе эта «вера» лишь заявляется как надежда — на основании «молодости», «силы» «русского народа», чего явно недостаточно для того, чтобы получить право на внимание европейцев, а именно к нему Герцен целенаправленно стремится в 1848–1855 гг., ставя задачей познакомить Европу с Россией. Герцен нуждается в каком-то позитивном основании для своей «надежды» — и он находит его в русской общине. М. О. Гершензон первым обратил внимание на эту динамику, отметив: «в его первом обращении к западным людям (это было его открытое письмо к Гервегу, 1849 г.) его голос звучит еще робко — он указывает только на *общие* преимущества русского народа — на необремененность наследственную и свежесть русской психики. Только год или больше спустя он впервые заявит, что русская сельская община — ключ к решению социального вопроса. <...> На русской общине Европа для Герцена отождествлялась с Россией, здесь западная революция и русское освободительное движение сливались для него в одном русле, чтобы дальше течь широким историческим потоком разумной, гуманной жизни — к новым общечеловеческим целям» (Гершензон 2000б: 137). В 1853 г., в открытом письме «В редакцию „Польского демократа“, Герцен вспоминал о своей интеллектуальной эволюции последних лет:

«...всего важнее было наше удивление, смешанное, правду сказать, с известным стыдом и угрызениями совести, когда мы вдруг заметили, по какой почве мы идем.

Вечно обращенные к Европе, со взором, прикованным к европейской борьбе и проблемам, мы чрезвычайно мало знали собственное общество. Только ознакомившись с социализмом, мы почувствовали всю неизмеримую важность для нашего общества нашей сельской родной коммунистической общины...» (XII, 77).

В период 1850–1853 гг. складывается учение, которое затем будет пропагандироваться и распространяться посредством изданий «Вольной типографии»¹⁸ и в этот же период националистические и панславистские мотивы зазвучат громче всего. В «Письме русского к Маццини» (1849) Герцен рассуждает:

«Славянский мир ничего другого не желает, как объединения в свободную федерацию; Россия — это организованный славянский мир, это славянское

17. Например (лат.).

18. Разумеется, мы никоим образом не сводим к нему взгляды Герцена — их внутренняя многослойность и «противоречивость» общеизвестна, а наиболее известные попытки проинтерпретировать ее, наряду с собственным оригинальным подходом, изложены в работе: Хестанов, 2001.

государство. Именно ей должна принадлежать *гегемония*, но царь отталкивает ее. Вместо того чтобы призвать к себе народы, являющиеся братьями его народа, он предает их; вместо того чтобы стать во главе славянского движения, он предоставляет помощь и золото палачам славян [т. е. Австрии. — А.Т.]» (VI, 235),

сплавляя вместе панславизм и революцию и видя в торжестве панславистских идей конец «империи»: «Когда императорский орел возвратится на свою древнюю родину, он уже более не появится в России. Взятие Константинополя явилось бы началом новой России, началом славянской федерации, *демократической и социальной*» (VI, 238). Спустя почти пять лет, в феврале 1854 г., в третьей, заключительной статье из цикла «Старый мир и Россия», напечатанного в чартистском журнале, он, уже после начала Крымской войны, утверждает:

«Время славянского мира настало. <...>

Ни Вена, город рококо-немецкий, ни Петербург, город ново-немецкий, ни Варшава, город католический, ни Москва, город только русский, — не могут претендовать на роль столицы объединенных славян. Этой столицей может стать Константинополь — Рим восточной церкви, центр притяжения всех славяно-греков, город, окруженный славяно-эллинским населением.

Германо-романские народности — это продолжение Западной империи; явится ли славянский мир продолжением Восточной империи? Не знаю, но Константинополь убьет Петербург» (XII, 199).

Еще важнее панславистских идей, входящих в состав как славянофильской, так и польской революционной мысли 1840-х гг.¹⁹, оказывается усвоение и воспроизводство Герценом выработанного славянофилами образа «народа». И. А. Христофоров отмечает, что

«в России в николаевскую эпоху существовало несколько конкурирующих образов крестьянина, которые никак не желали склеиваться в один портрет. И когда существенно позже такая „склейка“ все же произошла, у понятия „народность“ и „народ“ появилось вполне конкретное содержание, и до поры до времени никто ни в правительстве, ни в обществе уже не сомневался, что „русский крестьянин“ и „община“ — такие же неразделимые понятия, как „немецкий крестьянин“ и „крепкое индивидуальное хозяйство“ (и никто не жаловался, что крестьянин-общинник — слишком конкретный образ, негодный для национальной мифологии). В 1830–40-е гг. этот процесс „социальной идентификации“ только начинался» (Христофоров, 2011: 87–88).

В том, что именно славянофильский образ лег в основу «социальной идентификации», велика и роль Герцена, поскольку он одним из первых позаимствовал этот образ для левой идеологической конструкции, тем самым придав ему дополнительную

19. Об интересе к Мицкевичу и о размышлениях над его курсом лекций в Коллеж де Франс в перспективе славянофильских споров см.: II, 333–336, записи от 12 и 17.II.1844. См. также: Борисёнок, 2001.

убедительность (подтверждение реальности данного образа с противоположных краев идеологического спектра).

Со славянофилами Герцен сходится и в утверждении принципиального демократизма русского народа, проявляющегося в истории: «Вообще в древней России мы не встречаем какого-либо отдельного, привилегированного, обособленного класса. Там был только *народ* и одно племя — вернее, княжеский владетельный род, потомство варяга Рюрика, — совершенно отличное от народа» (О развитии революционных идей в России, VII, 154). Сравните с рассуждениями К. С. Аксакова:

«В России мы видим значением *Земли*, народа, а нисколько не бояр, не аристократии, ибо аристократия — это уже не Земля, не народ. Такое народное (а не аристократическое) значение Русской Земли беспрестанно выдается в договорах и действиях междоусобицы. Если б в России был хотя сколько-нибудь аристократический элемент, то он бы выдвинулся хотя сколько-нибудь — в эпоху междоусобицы особенно, — имел бы хотя какое-нибудь значение; но этого не видно нисколько. У всех Русских и в уме, и на языке одно: *вся Земля*. Скажут: под всею Землею подразумеваются все Русские люди, под нею подразумеваются и бояре. Совершенно правда, но *наравне со всеми*, но не как бояре, а своею земскою стороною, как люди *земские*, где для человека является только одно определение: *человек*. Простой народ, не имеющий никаких титулов, всего ближе к этому определению; он поэтому и носит, всякому человеку предложенное и доступное название, всечеловеческое название *крестьянина*, то есть христианина» (Аксаков, 1889: 270).

Процитированный фрагмент относится к 1860 г., однако сам ход рассуждений типичен для К. С. Аксакова. Так, в статье 1852 г. «Богатыри времен Великого Князя Владимира по Русским песням» он пишет: «Много их <могучих витязей> сидят на богатырской скамье; не по аристократическому праву породы занимают они это почетное место. Аристократическое понятие, образовавшееся на Западе рыцарством, не существовало в древней Руси. На богатырской скамье сидит и Ставр, богатый боярин, и Алеша, сын попа, и Иван, сын гостя (купца), и, наконец, Илья Муромец — крестьян. Всем им ровный почет» (Аксаков, 1889: 320; ср.: 145, текст 1856 г.). Воспроизводя популярную «теорию завоеваний» и видя специфику русской истории в отсутствии такового, Герцен пишет: «Россия IX века представляется государством совершенно иного склада, чем государства Запада. Народонаселение в большинстве своем принадлежало к одной расе, рассеянной по весьма обширной и малонаселенной территории. Того различия, которое наблюдается повсюду между племенем завоевателей и покоренными племенами, здесь не было» (VII, 153). Аналогичные рассуждения можно найти в исторических заметках К. С. Аксакова с конца 1840-х гг. (см.: Аксаков, 1889: 13, 14), которые, впрочем, в свою очередь, воспроизводят сделавшуюся к тому времени канонической формулировку М. П. Погодина. Заимствования из славянофильского арсенала нарастают в 1850–1854 гг., распространяясь на теорию «безгосударственности русского народа», отчетливо сформулированную К. С. Аксаковым в 1848–1849 гг. (Цимбаев, 1986: 154–158), с элементами которой в устной форме Герцен был знаком

из многочисленных бесед 1843–1844 гг., и даже на определение статуса Польши среди славян. В серии писем Герцена «Старый мир и Россия» (1854) читаем:

«Населяя пространство от берегов Волги и Эльбы до Адриатического моря и Архипелага, славяне не сумели даже объединиться для защиты своих границ. <...>

Одна лишь Польша была независима и сильна... но это потому, что она была менее славянской, чем другие; она была *католическою*. А католицизм противоположен славянскому духу. Славяне, как вам известно, первые начали великую борьбу с папством и впоследствии придали этой борьбе характер глубоко социальный (табориты). Усмиренная и возвращенная католицизму, Богемия перестала существовать...

Итак, Польша сохранила независимость, нарушив национальное единство и сблизившись с западными государствами.

Другие славяне, оставшиеся независимыми, были далеки от того, чтобы образовать организованные государства; в их общественной жизни было нечто колеблющееся, неопределенное, нерегламентированное, *анархическое* (как выразились бы здешние друзья порядка)» (XII, 170).

Более ранний пассаж из статьи «Россия» (1849) звучит очень близко к Хомякову с одновременным присутствием темы «кротости» русского народа:

«Я считаю большим счастьем для русского народа — народа очень впечатлительного и кроткого от природы, — что он не был развращен католицизмом. Тем самым он избежал другой беды. Католицизм, как некоторые злокачественные недуги, может быть излечен лишь при помощи ядов; он роковым образом влечет за собой протестантизм, который затем только и освобождает умы с одной стороны, чтоб еще сильнее сковать их с другой. Наконец, Россия, не принадлежа к великому единству западной церкви, не имеет надобности вмешиваться в историю Европы» (VI, 212).

Продолжая развивать тезис о безгосударственности славян, Герцен пишет:

«На Украине, как у черногорцев и даже у сербов, иллирийцев и далматов, славянский дух обнаружил отчасти свои стремления, но не создал политической формы.

Однако надо было подвергнуться *муштре сильного государства*, надо было объединиться, централизоваться, покинуть беспечную казачью жизнь, пробудиться от вечного сна общинной жизни. <...>

Москва уничтожила остатки народных вольностей. Все было принесено в жертву идее *государства*; ради нее все было обезличено, все подавлено. Свергнув монгольское иго, продолжая вести кровавые войны с ливонцами, видя вооружающуюся Польшу, народ как будто чувствовал, что для спасения своей национальной независимости и своей будущности он вынужден отречься от всех человеческих прав» (XII, 171; ср. с запрещенной цензурой статьей И. С. Аксакова 1862 г., в которой можно обнаружить обратное влияние Герцена [Тесля, 2012б]).

Характерно, что в своих исторических экскурсах Герцен игнорирует Земские соборы — речь идет о целиком внеисторической общине и правительстве. Москва выступает исключительно как начало подавления (в ней нет внутренней двойствен-

ности, другого начала, о котором рассуждают славянофилы в рамках предложенного К. С. Аксаковым противопоставления «Земли» и «Государства»). Другой «принцип», присутствующий в русской истории, противоположный «московскому», разнесен и географически, связываясь предсказуемым образом с Новгородом (т. е. переводя всю конструкцию в политический план). В дальнейшем, напротив, начало двойственности вводится там, где его первоначально игнорируют славянофилы — в дворянстве, которое реформами Петра и логикой последующего развития становится носителем европейских начал, сначала в союзе с правительством, а с тех пор, как после 14 декабря 1825 г., по мнению Герцена, самодержавие исчерпало себя, в качестве возможного источника нового развития. Отметим попутно, что в дальнейшем, в начале 1860-х, данная мысль будет усвоена, в свою очередь, славянофилами в лице Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова, модифицировавших концепцию К. С. Аксакова, противопоставлявшего «Землю» и «Государство» введением третьего элемента, «Общества», как начала национального самосознания (Тесля, 2012б: 42–46).

В той мере, в какой Герцен сближается со славянофилами и заимствует у них те или иные тезисы или принимает положения, происходящие из общего или родственного источника идей, он сталкивается с необходимостью отграничить себя от них. Одновременно, поскольку сближение очевидно, он даёт куда более дифференцированное описание того феномена, который ранее описывался им как «славянофильство». В одном из ключевых текстов этого периода — «О развитии революционных идей в России» — Герцен выделяет «подлинных славянофилов», отделяя их от петербургских «императорских панславистов» и московских «присоединившихся славянофилов», отзываясь о двух последних группах как о «русских патриотах», которые есть

«среди прибалтийских немцев и замиренных черкесов на Кавказе, но не об этих людях идет речь. Это любители рабства, которые принимают абсолютизм за единственную цивилизованную форму правления, проповедуют превосходство донских вин над винами Кот-д'Ор и *русицизм* западным славянам, переполняя их душу той благородной ненавистью к немцам и мадьярам, которая сослужила хорошую службу Виндишгрецам и Гайнау. <...>

Что до подлинных *славянофилов*, то добрые отношения с правительством были для них скорее несчастьем, чем фактом желательным. Но к этому приводит всякая доктрина, опирающаяся на власть. Такая доктрина может быть революционной в одном отношении, но непременно будет консервативной в другом...» (VII, 239).

«Наибольшее заблуждение славянофилов» Герцен видит «в том, что они в самом вопросе увидели ответ и спутали возможность с действительностью. Они предчувствовали, что их путь ведет к великим истинам и должен изменить нашу точку зрения на современные события. Но вместо того, чтобы идти вперед и работать, они ограничились этим предчувствием. Таким образом, извращая факты, они извратили свое собственное понимание» (VII, 231–232). Тем самым он воспроизводит риторическую фигуру, описывающую положение иудаизма по отношению христианству — «народ закона» по отношению к «людям благодати», «Синагогу» по отношению к «Церкви»

и в результате — «Заблуждение» по отношению к «Истине», выражая при этом свое двойственное отношение к славянофилам — в амбивалентности «народа, распявшего Христа», и в обетовании, что «весь Израиль спасется».

В зените славы (1856–1862) и на закате (1863–1870)

«Вольная типография» была основана Герценом в 1853 г., в обращении к «Братьям на Руси», призывавшем «присылайте что хотите, все писанное в духе свободы будет напечатано», говорилось: «Приглашение наше столько же относится к панславистам, как и ко всем свободномыслящим русским. От них мы имеем еще больше права ждать, потому что они исключительно занимаются Русью и славянскими народами» (XII, 63).

Как известно, ответа на это обращение не последовало — вплоть до 1855 г. Герцен был вынужден публиковать самого себя (попробовав силы даже в жанре политической листовки для солдат и офицеров, служащих в Польше, впрочем, с результатом, заставившим его впредь избегать повторения опыта). Смерть Николая I и наступившая «оттепель» привели к разливу «непечатной литературы». Еще в начале Крымской войны появились записки Погодина, затем — сначала небольшой, а дальше все более расширяющийся ручеек рукописей, направляемых в Лондон. Славянофилы не спешили, непосредственное сближение с ними началось в 1857 г., после встречи с Иваном Аксаковым. Еще до того, осенью 1856 г., через Н.А. Мельгунова²⁰ Герцену попала в руки рукопись аксаковских «Судебных сцен в уголовной палате» (и стала первой славянофильской публикацией в герценовских изданиях по получению при личном свидании с И. С. Аксаковым разрешения на опубликование: Эйдельман, 1999: 69–71; Дудзинская, 1983а: 139), а за десять лет до того Белинский делился с ним впечатлением от молодого помощника председателя Губернской уголовной палаты: «В Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!» (Белинский, 1982: 601).

В Москве, однако, их пути не пересеклись, так что личное знакомство состоялось только в 1857 г., между 14 и 20 августа. Молодой визитер (он был самым младшим по возрасту среди основных участников славянофильского кружка) произвел на Герцена самое благоприятное впечатление. М. Мейзенбург²¹ Герцен писал 20.VIII.1857, извиняясь за промедление с ответом «по причине прибытия и отбытия русских»: «Наиболее интересное лицо — сын Аксакова (брат ярого славянофила, человек большого талан-

20. Мельгунов Николай Александрович (1804–1867) — литератор, переводчик, музыкальный критик, близкий знакомый Герцена с 1840-х гг., активно печатался в «Отечественных записках». Его письма к Герцену с обстоятельной биографической статьей Н. Захарьина опубликованы в: Литературное наследство, 1955.

21. Мейзенбург Мальвида фон (1816–1903) — воспитательница детей А. И. Герцена, переводчик ряда его работ на немецкий.

та, сам немного славянофил, человек с практической жилкой и проницательностью. Он сказал, что влияние наших изданий огромно, что мир чиновников их ненавидит и боится — но что вся молодежь не желает ничего признавать, кроме „Полярной звезды“ и „Колокола“» (XXVI, 114), а 28.VIII.1857 извещал того же корреспондента о практическом результате свидания: «У нас перемирие со славянофилами...» (XXVI, 117). На следующий день Герцен делится с И.С. Тургеневым впечатлением от встречи: «Здесь был Ив<ан> Акс<аков>, и мы с ним очень, очень сошлись... Он двумя головами выше славяномердов — вроде Крылова, Григорьева, Филип<пова>²²» (XXVI, 117). Аксаков ехал в Лондон, будучи высокого мнения о деятельности Герцена, чем поделился со старшим товарищем, издателем и редактором славянофильского журнала «Русская беседа» А. И. Кошелевым — в связи с обсуждавшимися планами сделать Аксакова соредактором. Реакция Кошелева (тогда он отказался разделить с Аксаковым редакторство, на что пошел лишь год спустя, в занятиях по крестьянскому делу совершенно лишенный времени работать над изданием) также показательна, поскольку она демонстрирует спектр отношений к Герцену среди славянофилов. 10/22.VI.1857 он писал Аксакову из Карлсбада:

«Некоторые слова в Вашем письме показались мне странными и неудобопонятными. Вы говорите о том, что попы у нас все мертвят и что необходимо стать им во всем наперекор; вместе с тем Вы говорите о живом голосе Герцена и о том, как необходимо затронуть все живое. Странны мне показались эти Ваши слова. Теперь читаю я Герцена и ни в чем не нахожу ни настоящего смысла, ни истинной жизни. Он кривляется, орет, ругает, выставляет пышные фразы и проч. Разве это жизнь? Попы наши отчасти мертвят жизнь, но Герцен и комп. хлопочут об оживлении мертвечины, а труп все остается трупом. Во всем Герцене я не нашел ни одной страницы живой и вместе с тем истинной. Нет, дражайший Иван Сергеевич, в речах Филарета несравненно более жизни, чем в произведениях Герцена. Судорожные движения суть лишь обманчивые явления жизни. Это разногласие между нами крайне важно, и я шибко боюсь, чтоб при издании журнала оно не было поводом к спорам и неудовольствиям. <...> Нет, драж<айший> Иван Сергеевич, путь Герцена, его средства, слова и проч. никогда не будут одобрены мною. По-моему, он обязан успехом лишь обстоятельству, что он имеет единственную вольную русскую типографию, что он пишет дерзко, живо, общественно, но настоящего успеха не имеет и иметь не может, ибо у него нет фундамента. Если только у нас цензура сделается несколько посвободнее, то Герцена деятельность делается соверш<енно> ничтожной. <...> Нет, дражайший Иван Сергеевич, я не заклятый враг Запада и Петра, не квасной патриот, не славянофил 40-х годов, но убежден, что истина на нашей стороне, что мы должны действовать своими способами и отнюдь не прельщаться призраками жизни, которые привлекают толпу к нашим противникам» (Кошелев, 2011: 765–766).

22. Крылов Никита Иванович (1807–1879) — профессор римского права Московского университета (1835–1872). Григорьев Василий Васильевич (1816–1881) — востоковед, профессор Петербургского университета (1862–1878), начальник Главного управления по делам печати (1874–1880). Филиппов Третий Иванович (1825–1899) — с 1856 по 1864 г. служил в канцелярии Св. Синода, с 1864-го — в Государственном контроле (с 1889 по 1899-й — Государственный контролер). Все трое публиковались в «Русской Беседе» в первое время ее издания, а Т. И. Филиппов первоначально был помощником А. И. Кошелева в редакции.

Герцен же писал Аксакову 1/13.I.1858: «Начинаю русский Новый год тем, что пишу к самому русскому из моих знакомых, и притом не староверу, а новому русскому, т. е. Вам. <...> ...а отчего вы не можете сладить с другими? Оттого, что, в сущности, вы не делите их воззрений. Мне кажется, что вы к ним относитесь в том роде, как я к нашим „западникам“. А из того, натурально, и выходит, что мы, нося разные кокарды, больше согласны между собою, нежели однополчане...» (XXVI, 154). Теплые чувства и глубокое уважение к Аксакову Герцен сохранил и два года спустя, что отчетливо ощущается по начальным строкам письма от 19/31.I.1860: «Здравствуйте на Западе, любезнейший Иван Сергеевич, — письмо ваше и посылка были праздником для нас. Мы искренно и много любим и уважаем вас. Хорошо бы вы сделали, если б приехали освежить нас невской водой (не ваша вина, что она не чище откупной водки)» (XXVII, 12).

Впрочем, определяющим в воззрениях Аксакова было все-таки славянофильство, а не относительная «левизна» его в славянофильском лагере. Через знакомство с Аксаковым и налаженный «канал связи» началось активное сотрудничество Герцена и славянофилов, оказавшихся одними из ценнейших сотрудников герценовских изданий в 1858–1860 гг. (Сводку основных данных о славянофильских публикациях в изданиях «Вольной типографии» и о предоставленных ими материалах, легших в основу герценовских публикаций см.: Дудзинская, 1983а: 141–146). Относительно устойчивая эпистолярная связь возникла с И. С. Аксаковым. Кроме того, Герцена посетил кн. В. А. Черкасский, дважды приезжал в Лондон П. И. Бартенев, человек, близкий к славянофильскому кружку и некоторое время помогавший даже А. И. Кошелеву издавать «Русскую беседу», в 19 и 20 лл. «Колокола» опубликовал огромную статью «Программа для занятий губернских комитетов» сам А. И. Кошелев (Эйдельман, 1999: 240–242), к этому времени успевший несколько изменить свое отношение к деятельности Герцена, по крайней мере, в практическом плане. В свою очередь, Герцен в этот период с симпатией отзывался о славянофилах, а в случае, когда его позиция вызывала или могла вызвать разногласия с ними, был максимально осторожен и сглаживал острые моменты, прояснял конфликтные ситуации в переписке и т. д.

Постепенно, однако, нужда славянофилов в Герцене уменьшалась — с 1860 г. они сами сумели наладить русское книгоиздание за границей (пользуясь содействием лейпцигских, а затем и пражских типографов и книгопродавцев), к тому же основной вопрос, который вызывал их объединение с Герценом, — крестьянская реформа, подходил к своему разрешению. Контакты с 1861 г. становились все менее интенсивными, но это было далеко от открытого конфликта, исключающего сотрудничество по отдельным, в том числе принципиальным, вопросам. Например, в 1862 г., когда газета И. С. Аксакова «День» была приостановлена (одновременно с журналами «Современник» и «Русское слово»), Герцен выступил в поддержку всех трех названных изданий, предложив им «продолжать их издание в Лондоне» и объявив, что «на первый случай мы готовы печатать, если это будет нужно, на свой собственный счет, без всякого вознаграждения» (XVI, 214), а вскоре отозвался о ситуации вокруг газеты «День» еще одной, специально ей посвященной заметкой (XVI, 217).

Окончательный разрыв со славянофилами произошел в 1863 г., причиной чему послужило январское восстание в Польше и позиция, занятая Герценом. Ситуация в Царстве Польском обострялась давно, став откровенно напряженной с весны 1861 г., однако на протяжении всего этого времени, вплоть до январских событий в Варшаве, Герцен пытался балансировать, дистанцируясь от куда более пропольских позиций, занятых Н. П. Ограевым и М. А. Бакуниным. После начала январского восстания ему тоже пришлось (в том числе и в силу связей с польским революционным движением) занять однозначную позицию в поддержку восстания. Противоположная позиция, занятая Аксаковым по Польше, не была для Герцена особенно неожиданной (см. письмо к И. С. Тургеневу от 28.I/9.II.1861, XXVII, 209). Предчувствие того, как сложится ситуация, отчетливо звучит в письме к Н. П. Огареву от 23.I/4.II.1863: «Если инсurreкция будет подавлена — без малейшего участия в России, и вся литература будет ругать Польшу *a la Martianoﬀ*²³ и Аксаков — да и крестьяне пропустят желанный день, — то не пора ли и нам в отставку?» (XXVII, 287)²⁴.

В письме к М. А. Бакунину, уже в разгар событий, сын Герцена, Александр Александрович, пишет 26.VI/8.VII.1863:

«...ты ошибался в важности русского „патриотобесия“ — оно действительно доходит до отвратительных размеров, и никакое правительство никогда не может вынуждать подобных демонстраций; дело в том, что ты не знаешь „сущности предмета“ за неполучением русских газет. — Когда Катковы, Аксаковы и Мартьяновы, т. е. шпионы, честные люди и безумные, говорят одно и то же и кричат *rinforzando*²⁵ в унисон, это уже перестает быть правительственным обманом — как бы это печально ни было» (XXVII, 352).

Последнее лучше всего объясняет остроту реакции и степень конфликта между сторонами — Герцен не мог отступить, поскольку добрая половина всей его энергии на Западе была потрачена на убеждение европейского общества в существовании отличной от «официальной» «другой России», выразителем которой он являлся в глазах Европы. До тех пор, пока можно было утверждать, что раздающиеся газетные голоса являются лишь отражением правительственных взглядов, Герцен мог ощущать себя правым в своей деятельности — и в еще большей степени быть таковым, вестником о «настоящей России» для лидеров европейского революционного движения — но 1863 г. продемонстрировал, что именно само общество придерживается тех взглядов, которые он сам постоянно осуждал как реакционные, причем придерживается с

23. Мартьянов Петр Алексеевич (1834–1865) — из крепостных крестьян, выкупившись, стал купцом первой гильдии, по разорении приписался в мещанское сословие. Выехав за границу для отыскания убытков, сблизился с Герценом и Огаревым и опубликовал в 1862 г. «Колоколе» открытое письмо к Александру II, где выступил с идеями внесословной народной монархии во главе с «земским царем». По возвращении в 1863 г. в Россию был арестован и осужден к каторжным работам на пять лет.

24. Герцен сильно недооценивал степени сомнений и колебаний в славянофильском кружке по польскому вопросу (см. анализ ситуации и позиций И. С. Аксакова и В. А. Елагина: Цимбаев, 1978: 111–113).

25. Все сильнее (*ит.*).

редким единодушием, осуществив «<вслед за Катковым> в годину польского восстания... переход от умеренного либерализма к твердому консерватизму» (Пресняков, 1991: 6). Эту ситуацию Герцен переживал как крушение дела всей жизни, утрату своего статуса в глазах Европы и надежд на Россию, когда те, кого он по-прежнему считал друзьями, заняли позицию, тождественную для него личной вражде, оцениваемую как моральная измена. Он искал поддержки у Гарибальди (XVIII, 21–30) и получил от него ответ, опубликованный в «Колоколе» 1 февраля 1864 г.: «Да, Герцен, я верю вам и знаю, что народ русский несчастен и имеет высокие стремления, как все народы, и что он не повинен ни в виленских истязаниях, ни в варшавских истреблениях... Но мне кажется, что Польша... должна была бы возбудить сострадание народа русского, по крайней мере, в той благородной части его, к которой вы принадлежите, и в ней возбудить протест более торжественный, чем слова» (XVIII, 38). На это Герцену оставалось лишь отвечать, вопреки всему, что он утверждал ранее: «В тупой и наглой кровожадности общества оправдание всех ужасов петербургского периода... Страшный опыт доказал нам, опозоривши нас перед честными людьми всего мира, сколько грязи осталось от нашего *материка* на нас, сколько дикого, в самом деле, осталось под внешней цивилизацией...» (XVIII, 39, 43). Впрочем, Герцен признавал личную добросовестность Аксакова, с горечью констатируя: «То, что других побуждала делать страсть к интриге, газета Аксакова делала под влиянием патриотической экзальтации; и простодушный человек, избегнув нечистой паутины полицейских демагогов, попадал в сети фанатизма» (XVIII, 214).

Эпилогом стала поездка Самарина в Лондон, личное свидание с Герценом и последовавшая за этим переписка, вылившаяся в «Письма к противнику» (XVIII, 274–293). В письме к Огареву после второго разговора с Самариним Герцен пишет: «Я болен Самариним. Что же это, наконец? Два человека, считающие друг друга честными людьми, могут до такой степени расходиться» (XXVII, 494, письмо от 11/23.VII.1864).

Последняя беседа, продолженная затем в письмах, продемонстрировала всю глубину расхождения, вряд ли до конца осознанную Герценом, — расхождения в самых основаниях мысли. Они для славянофилов являлись религиозными, Герцен же явно недооценивал этот аспект — так, 27.X/8.XI.1858 в связи с письмом Самарина он дает в письме Аксакову свою оценку славянофильской религиозности: «она у вас больше натянутое общение с народом, нежели *непосредственное* чувство» (XXVI, 220). Однако куда более характерен пассаж из первого «Письма к противнику»:

«Год тому назад я встретил на пароходе между Неаполем и Ливорной русского, который читал сочинения Хомякова в новом издании. Когда он стал дремать, я попросил у него книгу и прочел довольно много. Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещая дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадиллом, я ясно видел, как во многом мы одинаково поняли западный вопрос, несмотря на разные объяснения и выводы. Патологическое описание Хомякова верно, но из этого не следует, что я согласен с его теорией и с его объяснением зла» (XVIII, 279).

Вся стилистика этого пассажа призвана как принизить нелюбимого Герценом Хомякова (указание на случайность обращения к его текстам, прочитано что-то в пути, между делом — и явно не заслуживает возвращения²⁶), так и, что важнее, продемонстрировать перевод с ложного языка, на котором рассуждают славянофилы, на язык «действительности» при убежденности, что этот язык можно без потерь отбросить, собеседник способен перейти на язык Герцена. Если для славянофилов принципиальна была попытка конфессионального мышления, конфессионального философствования (не нам судить, насколько она оказалась успешной в своей реализации), то для Герцена это неприемлемо, он отказывается принимать эту попытку всерьез, для него она не более чем интеллектуальное упражнение, совершаемое оппонентом, в которое он сам не может до конца верить.

Впрочем, и в дальнейшем А. И. Герцен в публицистике отделял славянофилов от других противников «справа». Так, в 1865 г., когда вновь поднялись споры вокруг общинного землевладения (в связи с обсуждением вопроса в Вольном экономическом обществе, выступившего против общинного владения), Герцен писал:

«И куда делись все рьяные, матерые друзья и защитники младших братьев, общины, общинного землевладения? Где И. Аксаков? Где Ю. Самарин? Не лучше ли было бы вместо *духовного* „Дня“ издавать „День“ светский и ломать копыта за наше право на землю, чем отвечать целыми печатными листами убийственной скуки какому-то отцу Мартынову, которого письма никто не читал и читать не будет? Проснитесь, Бруты! Пока вы ликовали победу над Польшей и занимались уничтожением иезуитов, — посмотрите, какую безобразную голову подняло православное помещичество» (XIX, 12).

К куда более существенным последствиям для самого Герцена привела недооценка им национального принципа. Он принял национализм как общее место левой европейской политической мысли своего времени без серьезного осмысления. Нелучайно в своих текстах он практически не обращается к подобной проблематике, не помещает в центр специального рассмотрения. Народ (нация) для него существует фактически как данность — она под вопросом в смысле своего «исторического призвания», роли «народа исторического», но вот как «народ» она бесппроблемна. Русская нация представляется ему, видимо, уже существующей — задача лишь в том, чтобы снять внешние скрепы «Петербургской империи». Для славянофилов же (как и для М. Н. Каткова, например) нация — это то, что еще только предстоит построить (см.: Тесля, 2012а: 103–105). Показательно, как в момент польского восстания Герцен предлагает плебисцит на спорных территориях (северо-западных и юго-западных губерний): народ сам скажет, кто он, к какому государству он желает принадлежать (или желает быть самостоятельным — см., напр.: XVII, 209). Для славянофилов народное начало подвижно — отсюда острота польского вопроса, внимание к северо-запад-

26. Отметим, что это и выпад, призванный задеть лично Ю. Ф. Самарина, поскольку во многом именно его заботами осуществлялось первое издание сочинений Хомякова (в 1867 г. он выпустит в Праге непропущенный духовной цензурой том богословских сочинений Хомякова, предпослав им известную статью, в которой назовет покойного «отцом церкви»).

ным губерниям. «Русскость» их не данность, а возможность — есть народ, который по обычаям, нравам, языку является «русским», и есть самосознание, которым он не обладает, — сам он имеет либо конфессиональную, либо локальную идентичность (точнее, как правило, ту и другую одновременно): он православный и из-под Гродно. Он может стать русским, обрести русскую идентичность (к чему дает основание его конфессиональная самоидентификация) и может стать поляком — это не определено, это зависит от конкретных действий властей и общества и их интенсивности и последовательности. Оттого спрашивать его сейчас так, как предлагает Герцен, — бессмысленно, поскольку он либо ответит так, как «угодно власти», либо так, как он считает, что власти угодно, либо попросту не поймет вопроса, поскольку не описывает себя в подобных понятиях. Отсюда тревожность и напряженность славянофильского отношения к западным губерниям в 1860-х годах и в дальнейшем — еще ничего не решено, все в процессе становления.

Поскольку народ/нация для Герцена данность, он имеет возможность укоренить свой проект исключительно в будущем, когда под вопросом оказывается реализация всемирного призвания русского народа, но не его существование и не границы его «физического бытия», точнее, не в большей мере, чем границы любого другого народа. В этом смысле нам представляется наиболее верной позиция В. Г. Щукина, связывающего историософские взгляды Герцена с Чаадаевым, по отношению к которому большинство западников «не проявили непосредственного интереса». В отличие от них, «именно он поддерживал наиболее тесные личные связи с Чаадаевым. <...> Позднее, разочаровавшись в классическом западничестве, Герцен вспомнит о романтической утопии Чаадаева и разовьет ее на материалистической основе» (Щукин, 2007: 29)²⁷ — разовьет в том плане, что найдет и тот особый принцип, который призван внести во всемирную историю русский народ, реальное воплощение социализма, материальным залогом чего выступает славянская община. В результате и его отношение к общине существенно разойдется со славянофильским — если для большинства славянофилов община была важным элементом «русского мира», но не «священным», что допускало рациональное к ней отношение, проявившееся, в частности, в разработке крестьянской реформы, то для Герцена эмпирическая община как таковая была не важна — куда важнее был «образ общины» и размышления над тем, как совместить «общинное начало» со «свободой личности».

Подводя итог, можно сказать, что влияние славянофилов на Герцена приходится на 1842–1844 гг. и состоит преимущественно в усвоении повестки: она была воспринята Герценом, но почти по всем ее вопросам он дал свой собственный ответ, а в тех случаях, где оказывался созвучен славянофилам, почти всегда речь шла об общем круге идей или параллельной разработке. Наиболее важное содержательное заимствование, сделанное Герценом, заключалось в усвоении и трансляции «образа русского на-

27. Именно Герцен сделает больше всего, чтобы поместить Чаадаева на одно из центральных мест в русской интеллектуальной истории, создав каноническую версию о воздействии «Философического письма» и выводя из разных ответов на поставленный Чаадаевым вопрос о западничестве и славянофильстве.

рода», выработанного славянофилами и легшего в основу консенсуального образа, формирование которого завершилось к 1880-м годам. Обратное влияние, оказанное преимущественно на И. С. Аксакова и через это в разной степени воспринятое различными направлениями русской консервативной мысли 1860–1900-х гг., заключалось во внесении в славянофильскую историческую схему динамического аспекта и постановке вопроса о субъекте — носителе данной динамики, истолкованного в качестве «общества», роль которого заключается в осознании «народного духа», «народных начал» и в их привнесении в политическое пространство.

Литература

- [Аксаков К. С.] (1889). Полное собрание сочинений. Т. I: Сочинения исторические / под ред. И. С. Аксакова. М.: Университетская типография.
- Белинский В. Г. (1982). Сочинения. Т. 9: Письма. М.: Художественная литература.
- Борисёнок Ю. А. (2001). Михаил Бакунин и «польская интрига»: 1840-е годы. М.: РОССПЭН.
- Герцен А. И. (1954–1965). Собрание сочинений. В 30 т. М.: Изд-во АН СССР.
- Гершензон М. О. (2000а). Избранное. Т. 2: Молодая Россия. М.: Университетская книга; Иерусалим: Gesharim.
- Гершензон М. О. (2000б). Избранное. Т. 3: Образы прошлого. М.: Университетская книга; Иерусалим: Gesharim.
- Гинзбург Л. Я. (1973). О психологической прозе. Л.: Художественная литература.
- Державин Н. С. (1939). Герцен и славянофилы // Историк-марксист. 1939. № 1. Кн. 1. С. 125–145.
- Дудзинская Е. А. (1983а). Славянофилы в общественной борьбе. М.: Мысль.
- Дудзинская Е. А. (1983б). Славянофилы и Герцен накануне реформы 1861 г. // Вопросы истории. 1983. № 11. С. 43–59.
- Желвакова И. А. (2010). Герцен. М.: Молодая гвардия.
- Емельянов Е. П., Тесля А. А. (2012). [«Единственный голос, к которому прислушивается правительство»](#) // Социологическое обозрение. Т. 11. № 3. С. 45–59.
- Кавелин К. Д. (1989). Авдотья Петровна Елагина // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: мемуары современников / Под ред. И. А. Федосова. М.: Изд-во МГУ.
- Киреевский И. В. (1911). Полное собрание сочинений. Т. II / Под ред. М. О. Гершензона. М.: Путь.
- Кошелев А. И. (2011). Самодержавие и Земская дума / Сост., предисл., коммент. Ю. В. Климакова. М.: Институт русской цивилизации.
- Литературное наследство. (1955). Т. 62: Герцен и Огарев. Кн. 2. М.: Изд-во АН СССР.
- Малиа М. (2002). Советская трагедия: история социализма в России. 1917–1991. М.: РОССПЭН.
- Малиа М. (2010). Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855 / пер. с англ. А. Павлова и Д. Узланера. М.: Территория будущего.
- Порох И. В., Порох В. И. (1989). А. Герцен и И. Аксаков на рубеже 50–60-х годов XIX века // Революционная ситуация в России в середине XIX века: деятели и историки. М.: Наука. С. 85–102.

- Порох В. И. (1971). Отношение И. С. Аксакова к «крестьянской реформе» 1861 г. (по неопубликованным письмам) // Некоторые вопросы отечественной и всеобщей истории. Саратов: Саратовский ун-т. С. 71–84.
- Пресняков А. Е. (1991). Воспоминания Е. М. Феоктистова и их значение // Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. М.: Новости. С. 5–12.
- Рамишвили А. С. (1957а). Герцен в борьбе со славянофильством // Труды Тбилисского педагогического института. 1957. Т. XI. С. 309–337.
- Рамишвили А. С. (1957б). Повесть Герцена «Сорока-воровка» (К вопросу отношения Герцена к славянофильству) // Труды Тбилисского педагогического института. 1957. Т. XII.
- Самарин Ю. Ф. (1911). Сочинения. Т. XII: Письма 1840–1853. М.: Мамонтов.
- [Самарин Ю. Ф.] (2012). [Письмо Ю. Ф. Самарина А. И. Герцену <от 9 мая 1858 г.>](#) // Социологическое обозрение. Т. 11. №3. С. 60–74.
- Тесля А. А. (2012а). [Дебаты о народности](#) // Социологическое обозрение. Т. 11. № 1. С. 99–119.
- Тесля А. А. (2012б). [Запрещенная 6-я статья И.С. Аксакова из цикла «О взаимном отношении народа, общества и государства»](#) // Социологическое обозрение. Т. 11. № 2. С. 41–70.
- Хестанов Р. (2001). Александр Герцен: импровизация против доктрины. М.: Дом интеллектуальной книги.
- Христофоров И. А. (2011). Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М.: Собрание.
- Цимбаев Н. И. (1978). И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М.: Изд-во МГУ.
- Цимбаев Н. И. (1986). Славянофильство (из истории русской общественно-политической мысли XIX века). М.: Изд-во МГУ.
- Шукин В. Г. (2007). Российский гений просвещения. М.: РОССПЭН.
- Эйдельман Н. Я. (1999). Свободное слово Герцена. М.: Эдиториал УРСС.